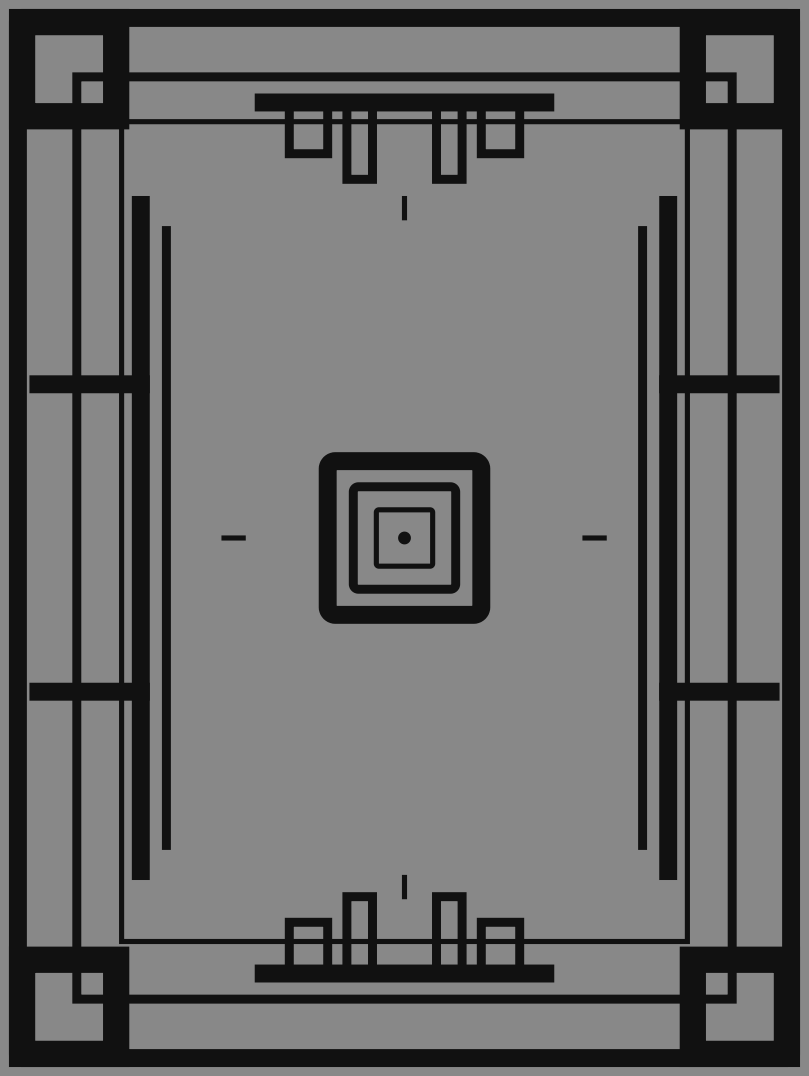

Лики истории в "Historia Augusta"

Маргерит Юрсенар

Аннотация
Лики истории в «Historia Augusta»

Аннотация

Эссе М.Юрсенар, посвященное отражению римской истории в Истории Августа — сборнике составленных разными авторами и выстроенных в хронологическом порядке биографий римских императоров (августов).

Лики истории в «Historia Augusta»[1]

Если из всех историй, сохраненных памятью человечества, именно история Рима чаще всего привлекала мысль философов, фантазию поэтов, суровый взгляд моралистов, в том следует отчасти признать заслугу гения нескольких римских и двух греческих историков: во многом благодаря их усилиям Рим не забыт и не утратил для нас своей притягательности. Плутархом описано, как заговорщики набрасываются в сенате на божественного Юлия, — и до сих пор, сколько бы ни совершалось политических убийств, Цезарь воплощает для нас образ диктатора преданного смерти. Благодаря Тациту за Тиберием навсегда закрепилась репутация тирана-мизантропа, а за Нероном — несостоявшегося художника. Именно потому, что биографический труд Светония охватывает жизнь двенадцати императоров, едва ли не обязательным украшением наших книжных

[1] Примечания: 1

Далее всюду: История Августа — сборник составленных разными авторами и выстроенных в хронологическом порядке биографий римских императоров (августов), оригинальное название которого «Scriptores historiae Augustae». Примеч. пер.

полок, как и дворцовых фасадов Ренессанса, стали их бюсты.

Но все эти великие историки — а некоторые из них были по преимуществу великими стилистами — процветали (согласно принятому выражению) на протяжении каких-нибудь двух столетий, от ранних лет Цезаря до зрелости Адриана. Бездарный Домициан, замыкающий биографический сборник Светония, — последний из римских императоров, кого судьба одарила великим портретистом.

Те триста пятьдесят с небольшим лет, что пройдут между его царствованием и падением Рима, оставят нам свидетелей почти сплошь посредственных — не только лукавых (таковы они всегда), но и легковерных, рассуждающих банально и сбивчиво, часто крайне поверхностных или не в меру суеверных, чуть ли не открыто служащих задачам пропаганды, отразивших в своем мышлении и языке закат культуры и, несмотря на все это, захватывающе интересных, ибо сама их посредственность — залог своеобразной достоверности: они говорят как полномочные представители уходящего мира.

История Августа — сборник, составленный шестью историографами, где сведены вме-

сте портреты двадцати восьми императоров, нескольких претендентов на престол и цезарей, скончавшихся в раннем возрасте (в данном случае титул «цезарь» означает предполагаемого наследника), — представляет срез жизни неполных двух столетий из этих трехсот пятидесяти лет. Повествование начинается с Адриана и его непосредственных преемников: Антонина, Марка Аврелия, — то есть живших в лучшие времена, когда Рим в зените славы не ведал о близости конца. Завершается оно мрачным Карином, сумеречной порой конца III века. Имена и само существование пяти главных авторов (Спартиана, Капитолина, Лампридия, Поллиона, Вописка) составляют сегодня предмет споров, а датировка их деятельности знатоками и специалистами колеблется от середины II и до конца IV века. В значительной своей части сборник составлен из компиляций или копий более ранних утраченных биографий и, в свою очередь, дополнен многочисленными позднейшими вставками. Как многие античные произведения, он дошел до нас в виде отдельных редких копий, неполных и переписанных с ошибками, — только это и спасло его от забвения. И все же современные исследователи античной истории не могут пройти

мимо Истории Августы; даже те, кто полностью отрицает ее ценность, волей-неволей вынуждены ею пользоваться. Уцелевшие документы II—III веков — в конечном счете, лишь скудные крупицы: вот почему, за неимением лучшего, мы ищем в этом сомнительном (а по небезосновательным предположениям выдающихся ученых — почти целиком лживом) тексте перемолотые зерна правды.

Одно дело — подлинность, другое — достоверность. К какому бы времени, между 284 (самое раннее) и 395 (самое позднее) годами, ни относилось составление в общих чертах Истории Августы, возникает вопрос о том, насколько можно им верить. Разумеется, мы не одинаково доверяем тому или иному составителю, тем или иным страницам. Правдоподобие не всегда является решающим критерием для читателя, поскольку в области истории само это понятие зависит от нравов, предрассудков и невежественных заблуждений каждой эпохи. Так, например, ученые XVII века, глубоко проникнутые христианской традицией, готовы были принять на веру любой портрет языческого императора, обрисованного в черном свете, так как считали их всех без разбора гнусными гонителями зарождающей-

ся Церкви; затем, по закону противодействия, слепое доверие просвещенных людей XVIII века к природе человека, а позднее, через сто лет, чопорное ханжество определенного типа историков, их странная почтительность перед правителями, пусть даже умершими восемнадцать столетий назад, а то и попросту недостаток жизненного опыта, характерный для кабинетных ученых, побуждают порой заявлять о невозможности или невероятности фактов, которые не колеблясь сочтет правдоподобными или истинными читатель, лучше приученный смотреть в лицо реальности. Злодеяния, свидетелями которых мы стали в XX веке, научили нас без особого недоверия читать рассказы о преступлениях императоров эпохи упадка; а что касается истории нравов, то, как отметил еще Ларошфуко, мы бы меньше удивлялись распутству Гелиогабала, будь приоткрыта тайная история наших современников. В некоторых случаях достоверность Истории Августы находит подтверждение в других памятниках той же эпохи. В иных — и на удивление частых — случаях ее подтверждают задним числом исследования историков нового времени. Об экономических и административных реформах Адриана свидетельствует слишком много

эпиграфических текстов, чтобы допустить, будто Спартиан или биограф, скрывающийся за этим именем, довольствуется, как утверждали, фантастическим изображением царствования этого императора, якобы копируя образцовую картину правления Августа. Бесчисленные статуи Антиноя и медали с его профилем, найденные за период от Возрождения до наших дней, убедительно подтвердили краткое упоминание того же Спартиана о безутешной скорби Адриана из-за смерти фаворита и о божественных почестях, коих была удостоена его память, — а иначе Антиноя могли бы счесть плодом скандального вымысла, привнесенного в биографию мудрого монарха. Сказка в духе «Тысячи и одной ночи», какой предстает перед нами история Гелиогабала в изложении Лампридия, сегодня уже не кажется таким вздором, как прежде, поскольку мы лучше осведомлены о культах и обычаях Востока; мы догадываемся о смысле того, что биограф порицает, не понимая. В общем, можно долго перечислять встречающиеся в Истории Августе вымышленные документы, нелепые утверждения, ошибки в именах, датах и событиях, но все-таки заблуждение и ложь цветут особенно пышным цветом не столько в изложении фактов, сколько в их

интерпретации.

В девяти случаях из десяти ложь продиктована либо ненавистью к правящему монарху, либо угодничеством перед ним. Портрет Галлисна — попросту пасквиль, порожденный злобой сенаторов; характеристика Клавдия Готского не более правдива, чем современная предвыборная речь или надгробное слово XVII века. Без сомнения, ненавистью и подобострастием дышат прежде всего жизнеописания монархов, близких по времени к биографам, но и императоры, относящиеся к более отдаленному прошлому, также нарисованы черной или белой краской в зависимости от политических установок составителя хроники и современного ему правителя. Конечно, Коммод был скверным императором, но его жизнеописание у Лампридия — не что иное, как яростная, но запоздалая обвинительная речь, в итоге вызывающая у читателя желание вступиться за это выставленное на позор животное. В целом историки поддерживают группу плутократов и консерваторов, в которую превратился сенат; поскольку лучшие из императоров решительно урезали синекуры сенаторов, этих правителей поносят; зато худших прославляют, если они — выходцы из сенаторских рядов или

если сенат сделал на них ставку. Но не следует требовать чрезмерной основательности от авторов жизнеописаний. Их ошибки, по-видимому, объясняются не только предубеждениями, но чаще — праздным любопытством (и потому они без тени критики принимают какие угодно непроверенные слухи), конформизмом, в силу которого они, не моргнув глазом, соглашаются с любой официальной версией событий, а также — по крайней мере, если говорить о первой части сборника, — разрывом во времени.

В самом деле, даже согласно наиболее благоприятной гипотезе, авторы портретов отделены от своих великих моделей — Антонинов — дистанцией в четыре-пять поколений. Конечно, античный историк не впервые оказывается столь удаленным (а случалось, что и гораздо более удаленным) от описываемого персонажа. Но в эпоху Плутарха античный мир был еще достаточно однородным, и греческий биограф, несмотря на дистанцию примерно в сто пятьдесят лет, сумел изваять фигуру Цезаря, по материалу не слишком отличающуюся от оригинала. В эпоху, когда составлялся сборник, мир, напротив, изменился настолько, что для биографов кануна поздней империи образ жизни и мышления великих

Антонинов уже почти непостижим. Монархов сирийской династии, немного более близких по времени, но более экзотичных и быстрее преображенных народной фантазией, еще труднее разглядеть сквозь чащу легенд. Вероятность ошибки из-за временного разрыва в дальнейшем постепенно сходит на нет, меж тем как пожирают друг друга императоры истекающего III столетия, но в эту пору и модель и художник равно ввергнуты в водоворот смятения, насилия и лжи, характерный для кризисных эпох. История Августа с начала и до конца составлена так, будто кучка нынешних литераторов, неплохо информированных, но бесталанных и к тому же не вполне добросовестных, излагает сперва историю Наполеона или Людовика XVIII, перемежая подлинные документы и расхожие анекдоты, окрашенные чуждыми эпохе страстями наших дней, после чего переходит к более поздним событиям и лицам и обрушивает на нас ворох бестолковых сплетен про Жореса, Петена, Гитлера и де Голля, сдобренных кое-какими полезными сведениями и обильно приправленных мешаниной из политических агиток и сенсационных откровений вечерних газет.

Худшее следствие неизменной заурядности

авторов жизнеописаний заключается в том, что они никогда не показывают нам человека в его падениях или взлетах, — а это серьезный недостаток, если изображаемый принадлежит к тем, кто знал и вершины, и бездны; и, что еще важнее, мы замечаем этот недостаток лишь в случае, если узнаем из других источников того времени, что персонаж, представший в таком упрощенном, преуменьшенном или преувеличенном виде, был выдающимся человеком. Спартиану удалось показать Адриана ловким администратором, большим прагматиком (чего не замечали те, кто хотел изобразить его этаким отвлеченным эстетом); увидел он и некоторые вызывающие раздражение причуды этой сложной личности. Напротив, во всем, что касается Адриана как человека образованного, любителя искусств и путешествий, наделенного универсальной широтой интересов, его облик доходит до нас искаженным из-за предрассудков иной эпохи или ограниченности ума, свойственной всем временам. Адриан, как и многие его современники, несомненно, интересовался гаданием по небесным светилам, но когда Спартиан изображает, как император-астролог первого января предсказывает, что произойдет, день за днем, в течение

будущего года, мы задолго до Средних веков погружаемся в нелепо-легковерный мир самых наивных средневековых хроник. Мысли Адриана о литературе биограф толкует буквально, как невежественный журналист; далеко не всегда находит у него понимание и государственный деятель, вдохновляемый в своих нововведениях и реформах идеалом гуманизма, уже чуждым автору жизнеописания. Благочестивый Антонин превращается под пером Капитолина в персонажа народной агиографии, примерного героя назидательной повести, предназначенной сынам империи. Не будь у нас записей «К себе самому», мы никогда бы не догадались о редком душевном совершенстве меланхоличного Марка Аврелия по сентиментальному портрету доброго императора и безвольного мужа Фаустины, написанному все тем же Капитолином.

Посредственность мешает биографам дотянуться до уровня последних представителей великой греко-римской культуры, она подводит их и тогда, когда нужно оценить своеобразных правителей сирийской династии и, наконец, отдать должное некоторым крупным полководцам конца III века. Кровосмесительная связь Юлии Домны с ее сыном Каракаллой (которого,

впрочем, историк по ошибке принимает за ее пасынка) слишком напоминает похождения Нерона и Агриппины, и потому нетрудно заподозрить Спартиана в желании подражать достойным образцам. За оскорбительными намеками Лампридия по адресу Юлии Соэмиады и неопределенными восхвалениями Юлии Мамеи почти не распознать, сколь необычны натуры этих сириянок: легкомысленные, безалаберные, честолюбивые, но в то же время набожные, образованные, они покровительствуют искусствам, почитают Аполлония Тианского, приглашают ко двору Оригена; а стоит устранить ритуальные мотивировки оргий Гелиогабала, и сладострастный жрец Эмесского храма Солнца предстанет в Истории Августе всего лишь слабоумным героем цикла непристойных анекдотов. Портрет Галлиена превращается в грубую карикатуру не только из-за политической вражды: этот просвещенный император, сторонник религиозной терпимости, друг и покровитель великого Плотина, сохранивший в годы анархии утонченные правы иных времен, по-видимому, остался незнакомцем для посредственного портретиста в еще большей степени (если только это возможно), нежели был им оклеветан. Даже жестокий Аврелиан, суровый

ревнитель культа Непобедимого Солнца, вероятно, был человеком не такого уж простого склада, вопреки впечатлению от сухого контурного рисунка, набросанного Вописком.

Что еще характернее, эти биографы, столь мало озабоченные истинным обликом персонажей, столь поспешно отливающие их в условную форму хорошего или дурного правителя, совершенно проглядели подспудно назревающие великие события, которые в итоге повлияют на историю сильнее, чем все дворцовые революции на Палатинском холме. Читая жизнеописания, невозможно догадаться, что тем временем, всего за двести лет, волна христианской веры, исподволь нарастая, захватывает души и что в тот момент, когда составление сборника официально считается завершенным, совсем уже недалеко до провозглашения Константином мирной победы сдерживаемого до сих пор христианства и объявления его государственной религией. Если, как думают некоторые ученые, жизнеописания были составлены еще позднее, чем предполагалось, близорукость составителей в отношении христианской революции кажется тем более поразительной и тем более симптоматичной для определенного типа человеческого поведения.

Консерваторы и язычники, они почти ничего не знают о старом порядке, преклоняясь перед ним, и не желают ничего знать о новом порядке, который грядет наперекор их воле, — и они дают ему отпор путем замалчивания, избегая малейших о нем упоминаний. Больше того, несмотря на бесконечную цепь бедствий, всегда приписываемых случаю или осмотрительно относимых на счет безумств и преступлений уже умершего цезаря или претендента на престол, но только не на счет неискоренимых пороков самого государства; несмотря на экономическую разруху, растущую инфляцию, военную анархию внутри страны и непрерывно усиливающееся давление варваров на ее границах, эти историки, похоже, так и не заметили приближения великого события, тень которого, однако же, легла на всю Историю Августу: гибели Рима.

Между тем, вопреки посредственности, отличающей Историю Августу, а может быть, именно благодаря ей, она читается с захватывающим интересом и волнует нас так же сильно, если не сильнее, чем сочинения историков, куда более достойных доверия и восхищения. Внушающим ужас человечьим духом пропитана эта книга: уже потому, что она лишена отпечатка силь-

ной писательской индивидуальности, читатель оказывается лицом к лицу с самой жизнью, с беспорядочным нагромождением сумбурных и жестоких эпизодов, в котором, правда, проявляются некие общие законы, но это законы, почти всегда скрытые от участников и свидетелей событий. Историографу непосредственно передаются все настроения толпы, он разделяет ее нечистое, пресыщенное любопытство, вместе с ней впадает в истерию. Мы узнаем, что говорилось втихомолку за столом среди челяди Марка Аврелия об изменах Фаустины и о попойках Вера; что нашептывал соседу между двумя заседаниями Сената патриций III века в поддержку блюстителя общественного порядка, обеспечившего себе большинство голосов ценою подкупа. Ни в одной книге не отразились вернее, чем в этом бесцветном и увлекательном произведении, суждения человека с улицы и из людской о шествующей мимо истории. Перед нами общественное мнение в чистом виде, то есть смесь грязных толков и сплетен.

Порой какие-то детали настолько точны, что не приходится сомневаться в их подлинности: мы видим танцующую, женственную походку Гелиогабала, слышим, как он смеется во весь голос,

будто невоспитанный ребенок, заглушая голоса актеров в театре. Мы становимся очевидцами гибели Каракаллы, убитого охранниками в тот момент, когда он по малой нужде спешивается на обочине дороги. Две короткие биографии представителей династии щеголей — Элия Цезаря и его сына Вера — с непередаваемым легкомыслием рисуют два чуть отличающихся образа денди, каким представлялся он в Риме между 130 и 180 годами нашей эры; прибавим к этому несколько строк об Элии Цезаре из биографии Адриана и увидим, что Спартиан (или скрывающийся под этим именем аноним) в два приема набросал нечто похожее на грандиозный бальзаковский портрет — великолепный эскиз Растиньяка или Рюбампре II века. Иногда над этой грудой малозначащих деталей воспаряет поэзия, будто дымок над голой пашней: в зловещих проклятиях сенаторов над трупом Коммода есть трагическое величие, присущее массовым сценам Шекспира; странной красотой полны несколько безыскусных фраз Спартиана, который описывает, как накануне своей смерти Септимий Север творит жертвоприношение в храме Беллоны в британском городишке (сегодняшнем Карлайле в Камберленде) у западного предела стены

Адриана. Сельский жрец, плохо разбираясь и римских обычаях, приготовил на заклание пару черных волов, но император отказался приносить в жертву предвещающих дурное животных, и отвязанные служителями храма волы идут за ним до самого порога и тем удваивают роковое знамение. Отмечая одну-единственную черту суеверия, Спартиан приоткрывает краешек повседневной жизни империи, вечного поля битвы: несколько скупых слов — и перед нами оживает холодный, а то и дождливый февральский день на границе Шотландии, император в военном обмундировании — болезни и северный климат покрыли бледностью его смуглое африканское лицо; пара мирных животных, плоть от плоти и символ самой земли: спасшиеся, того не зная, от кровавой глупости жертвоприношения, в полном неведении о мире людей и о чужеземце, для которого стали авгурами смерти, бредут они наудачу по топким улочкам гарнизонного городка, пока не найдут наконец дорогу домой, в пустынные холмы.

Но поэзию открываем здесь мы сами, и точно так же, при упоминании юного белокурого варвара Максимина, дерзко отделившегося и день смотра от воинских рядов и гарцующего перед

взором императора, мы сами воображаем сцену в духе Толстого, ощущаем запах пота и кожаной сбруи, слышим, как звонко цокают о землю копыта однажды утром шестнадцать веков назад. И опять-таки не кто иной, как мы сами, читая почти сказочное описание выстроенной Гелиогабалом Башни Самоубийств, с золотыми кинжалами, ядами во флаконах из драгоценных камней, шелковыми удавками и мраморным полом, о который должны раскалываться черепа, рисуем себе фантазию, напоминающую «Ватека» Уильяма Бекфорда, какой-то удивительно изощренный роман ужасов. Каждый раз именно воображение современного читателя выискивает в этой гигантской куче наполовину выдуманных происшествий, крупицу поэзии или, что то же самое, частичку яркой и непосредственной реальности.

Может быть, лучший комментарий к Истории Августе представляют собой произведения искусства и памятники той поры. Прежде всего, это бюсты — они то подтверждают, то опровергают биографии императоров: умное и вместе с тем мечтательное лицо Адриана, нервный рот, ранняя одутловатость черт вследствие развития водянки; красиво причесанные головы Элия и его сына; узкие челюсти, сухой и чистый про-

филь Антонина Благочестивого; мягкосердечный Марк Аврелий на площади Капитолия, вполне похожий на героя жизнеописания, — и усталое, измученное лицо другого, постаревшего Марка Аврелия из Британского музея, похожего, напротив, на автора книги «К себе самому»; гротескные локоны Коммода, солдафонская внешность Каракаллы, лукавая мордочка Гелиогабала, которая, надо признать, скорее подходит беспутному юноше из рассказа Лампридия, а не тайному развратнику, знакомому любителям исторических романов; мягкий, задумчивый облик императриц-сириянок и грубые лица императоров-иллирийцев — вояк[2], сумевших на время восстановить порядок в Империи, подобно тому как один капрал восстановил его на площадях в день мятежа. Скажем о монетах: в течение описанных двадцати восьми царствований профиль императоров постепенно утрачивает рельефность, и если в начале выпуклое изображение тщательно проработано в традициях античной пластики, то к концу это совсем плоские и все менее четкие отпечатки, выбитые на тонких золотых дисках, — они красноречивее свидетель-

---

[2] Примечания: 2

Manu ad ferrum. (Букв.: рукой к железу; лат. Примеч. пер.)

ствуют об агонии умирающей экономики, чем рассеянные в жизнеописаниях намеки на эдикты о запрещении роста цен, законы против роскоши и публичные распродажи с торгов государственного имущества.

Эллинистическое, неоклассическое Искусство эпохи Адриана, официальное и несколько тяжеловесное искусство времен Марка Аврелия во многом подтверждают биографии обоих мудрых императоров; иероглифическая надпись на обелиске Пинчио подкрепляет сообщение Спартиана о смерти Антиноя в Египте; украшения из искусственного мрамора на пифагорейской базилике у Порта Маджоре говорят об исполненном поэзии языческом благочестии, которое все еще воодушевляло идеалистов, от Адриана до Александра Севера, на что указывает, например, описание личной молельни последнего в рассказе Лампридия. Культурная изысканность виллы Адриана, куда позже Аврелиан сослал свою пленницу Зенобию, грандиозные руины Септизония, где теснился восприимчивый к влиянию Востока двор Северов; павильон Галлиена близ Виа Лабикана, немногое, что уцелело от занимавших пятую часть площади Рима императорских увеселительных поместий парком, засаженным

редкими породами деревьев и населенным прирученными животными, — пережившие свой век остатки декораций грустно напоминают о свершившейся драме. Политика, цели которой — престиж любой ценой и наслаждение, чего бы оно ни стоило; безумная роскошь и маниакальный размах игр и зрелищ оставили в доказательство гигантские каркасы памятников во славу общественных развлечений и комфорта — терм Каракаллы и Диоклетиана: кажется, размеры этих сооружений росли, а украшения становились помпезнее по мере того, как экономика Империи приходила в упадок, и возводились они именно с тем, чтобы заставить о нем забыть. Распухшие атлеты-микроцефалы с мозаик в термах Каркаллы — родные братья наемных гимнастов, получивших приказание задушить Коммода, а также тех, что так привлекали Гелиогабала. Страшный перечень тысяч отловленных в Азии и Африке животных, подвергнутых ужасам и мучениям долгого пути и в конце концов убитых ради того, чтобы удобно расположившиеся зрители насытились сильными эмоциями во время послеобеденного досуга, — об этой вакханалии, поглощавшей все блага мира, говорит не только Колизей, но и провинциальные арены

Италии и Испании, Африки и Галлии; страсть к профессиональному спорту увековечена остатками Большого цирка. Но среди всех построек той эпохи стена Аврелиана с непревзойденным трагизмом обличает смертельную болезнь Рима, временные облегчения и роковые рецидивы которой составляют содержание Истории Августы. Поистине величественные, оставшиеся и для нас эмблемой римского могущества, эти стены были наскоро воздвигнуты в беспокойные годы. Каждый каземат, каждая сторожевая башня гласят о том, что открытый, уверенный в себе, надежно защищенный на границах Рим уже не существует; вызванные срочной необходимостью и в итоге бесполезные, как все оборонительные меры, они предвозвещают мешок Алариха за сто с лишним лет до этого эпизода.

Если злоупотребления и слабости Рима III века можно различить уже во времена расцвета Римской империи и даже во времена Республики, то и многими недостатками Истории Августы в равной степени грешат античные историки «золотого века»; заметное лишь при ближайшем рассмотрении отличие объясняется не столько изменением подхода, сколько снижением уровня культуры. Ту же бессистемность, ту же неспо-

собность датировать какой-либо инцидент или действие и вытекающую отсюда тенденцию выдавать за черту характера отдельный, возможно, раз в жизни совершенный поступок; ту же смесь серьезных политических сведений и слишком личных, а значит, снабженных изрядной долей выдумки анекдотов обнаружим мы у Светония; но благодаря его холодной проницательности и гольбейновскому реализму соединение случайных мазков в конечном счете преображается в убедительный портрет, впечатляющий — обоснованно или нет — разительным сходством с моделью: при всей исторической уязвимости здесь налицо психологическая правда. У авторов Истории Августы удачи такого рода редки. Точно так же великие античные биографы всех времен при случае позволяли себе воспользоваться цитатой или известным изречением, принятыми на веру, а то и просто сочиненными, дабы подытожить сказанное о ситуации или о человеке: ведь для Тита Ливия или Плутарха история была, во всяком случае, в той же степени искусством, что и наукой, и не столько формой регистрации событий, сколько способом углубленного познания людей. Напротив, письма и декреты, вымышленные или искаженные Вописком и Поллионом,

— просто-напросто фальшивки и к психологическим портретам отношения не имеют. То же касается несносного морализаторства, которым перегружена История Августа: и у крупнейших античных историков изложение событий не обходится без этой приправы, испортившей не один истинный шедевр. Но если Тацит, среди прочих, не свободен от этого недостатка, чрезмерно очерняя виновных и идеализируя добродетельных героев с риском излишне упростить запутанную картину человеческих деяний, — приходится признать, что этот писатель, далеко не беспристрастный, все же почти всегда справедлив. Талант великого художника не позволяет ему опуститься до лубочной картинки или впасть в карикатуру; пусть его возмущение преувеличенно, но это возмущение порядочного человека, все еще воодушевленного добротным гражданским идеалом республиканской старины. Спартиан же и тем более пятеро его коллег принадлежат эпохе заката традиции гражданских добродетелей, когда стерлась даже память о морали свободного человека. Они заимствуют яростные обличения роскоши и развращенности нравов (нередко смакуя непристойную деталь) из банального репертуара современных им риторов и софистов.

Этих ретивых моралистов, уравнивающих такие преступления, как пристрастие к ранним овощам или к ночным горшкам из серебра, с политическим убийством и братоубийством, разумеется, совершенно не волнуют истинные язвы времени: бесхребетность толпы, всеобщее раболепие перед сегодняшними господами, жестокие, хотя и преходящие приступы гонений христианского меньшинства, варварское разбазаривание средств на игры, темное и нелепое суеверие, нарядное убожество культуры, от которой осталась только школьная зубрежка, — все те пороки, что немногие свободные умы разоблачали уже тогда, а христианские историки (правда, неизменно слепые к порокам своего времени) станут без помех порицать в будущем.

Понемногу глаз приучается распознавать в этом хаосе схожие ряды фактов, повторение одних и тех же событий — не то чтобы План, но некоторые схемы. Во II веке два императора родом из Андалусии (во всяком случае один из которых духовно близок Греции, равно как и Риму) дали человечеству почти столетнюю передышку. В III веке область происхождения императоров продолжает круг за кругом расширяться; преемником Антонинов становится Септимий Север

— пуниец; ему наследуют сирийцы; в 248 году торжества, посвященные тысячелетию Рима, возглавил араб Филипп; иллирийцы, выходцы из воинских рядов, ничего не зная о Риме, кроме римской военной дисциплины, на время вновь утверждают властное начало в охваченном анархией мире, но не могут возродить чуждую им самим цивилизацию. Так называемые человечные меры слишком запоздали: когда всем жителям Империи предоставлено гражданство, оно превращается из привилегии в налоговое бремя, а Рим уже не в силах ассимилировать всю эту людскую массу и не способен ею управлять. Расширилась география происхождения императоров, но не менее широка и география их смерти: обессиленный Марк Аврелий скончался на берегах Дуная у подножия крепости, ставшей впоследствии Веной; болезнь унесла Септимия Севера в Эбуракуме, будущем Йорке; Каракалла убит под Антиохией; Александр Север сражен мятежниками в окрестностях современного Майнца; голова Максимина насажена на кол под стенами Аквилеи; двое Гордианов гибнут в Африке, а третий — на границе с Персией; Валериан умирает в Азии в застенках царя Шапура; Аврелиан убит на пути в Византию, Тацит — в

Каппадокии, Проб — в Иллирии; трупы тридцати тиранов[3] брошены на дорогах Германии и Галлии; за Рим воюют везде, кроме Рима.

Институты умирают не так скоропостижно, и авторы Истории Августы отмечают это лишь вскользь. Сохранение формы маскирует утрату сути; жаргон республиканских формул, почти лишенных содержания уже при первых цезарях, остается в употреблении наряду с пышным протоколом и крайне подобострастной лестью, в период окрашенной влиянием Востока монархии III века, к удовлетворению тех, для кого видимость важнее реальности, то есть едва ли не всех. Процедуры утверждения и избрания служат только прикрытием распродажи с торгов и государственного переворота. Принцип династического наследования, оборачиваясь некомпетентностью и кровопролитием, терпит крах в лице Коммода, последнего из Антонинов, и Каракаллы, завершившего род Северов. Сирийская династия подарила миру лишь юного безумца и юного мудреца, и обоих проворно убра-

[3] Примечания: 3

По аналогии с «тиранией тридцати» в Афинах (404 г. до н. э.) историографы Рима говорят о правлении «тридцати тиранов», имея в виду многочисленных узурпаторов, восставших против центральной власти в разных концах Римской империи в 60-е гг. III в. н. э. Примеч. пер.

ла военная клика, не видя ни выгоды от пороков Гелиогабала, ни пользы от слабохарактерного Александра Севера. Династия трех Гордианов удерживает власть шесть лет. Галлиен правит восемь лет после пленения персами его отца Валериана, но в свою очередь гибнет от руки убийц вместе с сыном Салонином. Армия, будучи единственной опорой сильных режимов, именно поэтому становится началом анархии; она постоянно пополняется варварами и, Защищая Рим от варварства, в то же самое время прививает его в Риме. Неукротимые мелкие междоусобицы, поглотившие внимание историков, разворачиваются на фоне событий столь масштабных, что современники не могут их ясно видеть: это ответный удар со стороны некогда запуганных или завоеванных народов; миграции, которые вскоре подорвут мировое равновесие; рост новых форм среди распада и истощения старых культур, смерть древних мифов и рождение новых догм. С этой точки зрения, и пороки Гелиогабала, и грубые добродетели Аврелиана имеют лишь относительную значимость. Но не будем слишком легко соглашаться с расхожим мнением, что история — только ряд неподвластных человеку обстоятельств, как будто от каждого из нас

не зависит, выбрать ли позицию содействия, невмешательства или сопротивления: все же Гелиогабал на шаг приблизил, а Аврелиан, пусть ненамного, отсрочил падение Рима.

Не нам — с нашей близорукостью в оценках современной цивилизации, ее ошибок, шансов на выживание и молвы, которую сохранит о ней будущее, — удивляться тому, что римляне III или IV века до последнего довольствовались неопределенными размышлениями о превратностях фортуны вместо ясного толкования примет, предвещавших конец их мира. Нет ничего сложнее, чем кривая упадка. Неполный график, представленный Историей Августой, не убеждает в близости конца, и это закономерно: правление Адриана — одна из вершин; правление жалкого Карина — еще не конец. После каждого крутого спада падение приостанавливалось и даже сменялось кратковременным подъемом, который всякий раз казался устойчивым: казалось, очередной спаситель решит все проблемы. Жизнеописания оборвались на истории Карина, но в тот момент на сцену уже вышел спаситель Диоклетиан, а за ним явятся спаситель Константин, спаситель Феодосий, и пройдут, с грехом пополам, еще сто пятьдесят лет, прежде чем длинный спи-

сок римских императоров бесславно завершит отпрыск секретаря Аттилы, знаменательно увенчанный помпезным именем Ромул Августул. К тому времени бедствия, которых прежде не желали ни предвидеть, ни мужественно признавать, успели стать привычным явлением; гигантской имперской машине, теперь уже ненужной, пришли на смену более рудиментарные формы политической жизни, — подобно тому как на виллах последних патрициев Остии наспех и бессистемно вырытые водоемы кое-как заменили прежние хитроумные сооружения, куда перестала поступать вода из акведуков и общественных фонтанов. Заключительное представление грандиозного спектакля, веками не сходившего со сцены, вскоре пройдет почти незамеченным.

Мало того: реалии исчезнут, и тогда-то в полную силу проявится человеческая способность принимать за чистую монету пустые слова Рим умер, но призрак Рима оказался живучим. Греческая Византийская империя, как ни парадоксально, получила в наследство название Римской империи и присовокупила к этой бесконечной истории тысячелетнее, в какой-то мере иллюзорное, продолжение на Востоке: в двух толстых томах Гиббона, посвященных закату и

крушению Римской империи, История Августа дала материал только для первых глав; а завершается это сочинение входом в Константинополь Махмуда II в 1453 году. С другой стороны, в Западной Европе наследство цезарей приняла Римская империя германского народа, и античная игра возобновилась, переходя из века в век, причем ставки не уступали прежним, а в темпераменте игроков прослеживалось удивительное сходство. Почти без преувеличения можно узнать в деяниях средневековых пап и императоров, гвельфов и гибеллинов сумбурные авантюры из Истории Августы, а продолжение мы видим в наши дни, когда Гитлер, подобно средневековому германскому императору, дает свои последние сражения в Сицилии и под Беневентом или когда убитый во время бегства, а после повешенный за ноги в миланском гараже Муссолини умирает в XX веке смертью императора третьего столетия. Упадок, затянувшийся таким образом на восемнадцать с лишним веков, — уже не патологический процесс, а нечто иное: сами условия человеческого существования, сами понятия политики и государства — вот о чем повествует История Августа — печальный калейдоскоп плохо усвоенных уроков, провалившихся экспериментов, оши-

бок, которых нередко можно было набежать, но которых не избежали ни разу; и все это, представленное здесь (что правда, то правда) на редкость удачными образцами, все это, в разнообразных формах, и составляет трагическое содержание истории как таковой.

На излете XIX века Рим периода упадка ассоциировался с образами патрициев в венках из роз, которые возлежат, опершись на подушки или на прекрасных дев, или, как грезилось Верлену, в томлении слагают акростих, созерцая приход белокожих великанов-варваров[4]. Нам лучше известно, как наступает конец цивилизации. Дело не в злоупотреблениях, пороках и преступлениях — они свойственны всем временам, и невозможно доказать, будто Аврелиан превосходил жестокостью Октавия или будто при Дидии Юлиане коррупция в Риме усилилась по сравнению с эпохой Суллы. Умирают от болезней более характерных, более сложных, более затяжных, и порой их не так легко выявить и определить. Но мы уже научены распознавать симптомы: это гигантомания — нездоровая имитация роста; расточительность — способ убедить в реальности

[4] Примечания: 4
Имеется в виду стихотворение П. Верлена «Томление». Примеч. пер.

давно растраченных богатств; изобилие, при первых признаках кризиса внезапно сменяемое голодом; развлечения, санкционированные свыше; атмосфера инерции и страха, авторитаризма и анархии; напыщенные апелляции к великому прошлому, меж тем как в настоящем царят посредственность и хаос; паллиативы реформ и приступы добродетели, всегда принимающие форму чисток; тяга к сенсациям — и в итоге торжество принципа «чем хуже, тем лучше»; малое число гениев, лишенных поддержки, затерянных в толпе грубых проныр, жестоких безумцев, честных простаков и бессильных мудрецов. И Истории Августе современный читатель у себя дома.

Остров Маунт Дезерт
1958